

Сосед / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 24 января, 2025

Сосед / рассказ СОСЕД

Наши квартиры разделяет кирпичная стена старого четырёхэтажного дома. Хотя так ли уж она разделяет – общая стена? Давним мартовским утром на нашей входной двери появился листок без подписи: «С новосельем!». Листок мы храним, и будем хранить всегда; этому оберегу уже двадцать пять лет. А соседу – за семьдесят. Теперь он один. Дети за тысячи километров и за миллионами дел. Приезжают редко, в последний раз были на похоронах мамы.

После похорон и обширного инфаркта он заметно сдал. Лицо потекло, от карих глаз до самого подбородка бороздами легли морщины, на аристократических кистях рук вздулись вены, голос увял, сделался негромким. Сдал, но не сдался. На предложения о помощи неизменно отвечает: «Пока сам с усам». В апреле у него день рождения. От поздравлений в этот день всегда уклонялся: «Это не мой праздник, а родительский. Именины – другое дело». Но и именины тоже в апреле. Нарекли его не совсем распространённым именем Мирон, и на мой вопрос он пожал плечами: «Мама по святцам выбрала. Но, похоже, не ошиблась». Я тоже так думаю. Творимых чудес, правда, за ним не замечал, да многое ли мы замечаем? А характер воистину мироносный: спокойный, всегда приветливый, не всегда податливый и в меру ироничный. Первый урок от него я усвоил давно, став свидетелем эпизода из их внутрисемейной жизни, когда Виталий – муж его сестры – посреди общего застолья вдруг хмельно ополчился настолько, что задохнулся.

– Ты что, смеёшься надо мной? Да я тебя!

Вскинул над столом чугунный кулак, застольники опешили, а дядя Мирон весело хмыкнул.

– Не получится.

Опешил Виталий.

– Это почему?

– С детства бегаю быстро.

Виталий через мгновение захохотал и, цепляясь за стулья, пошёл челомкаться, а я с тех пор уяснил, что «подставить другую щёку» – значит найти ответ неожиданный и обезоруживающий. Это не так легко, но я стараюсь. Нет теперь ни Виталия, ни сестры. Нет и былых застолий. Радушия, правда, не убавилось. Навещают его время от времени бывшие коллеги, гоняют чай, делятся околопенсионными новостями и пересыпают в ладонях ускользающую жизнь. Случается, зовут и меня, и уж тут википедии отдыхают. Разница в нашем возрасте – немногим больше двадцати лет. Но со временем дядя Мирон перерос в моём сознании в Мирона Петровича, и пришло понимание, что он вполне мог бы быть моим отцом не только по возрасту. Он – из прошлого, из отцовского поколения.

Иногда я сам стучусь к соседу. После инфаркта на журнальном столике в его зале обосновался тонометр, и я поначалу просился измерять давление. Хитрил наивно и, оказалось, напрасно. Всё он понимал, в хитростях не уличал и к моему потаённому удовольствию вёл потом на кухню чаёвничать. Чай пили вприкуску с разговорами. Выговаривался в основном я. Вернувшись домой сокрушённо фыркал на свою болтливость, но противиться его умению слушать было решительно невозможно. Я так слушать не умею.

Пенсия у него почти смешная, хотя послужной список – дай Бог каждому. «А на кой мне больше? На быт и лекарства хватает, а суета – дело плоское». О своей работе всегда говорил неохотно, скупно, задумываясь и подбирая слова. Немудрено: его труд ложился в общее дело, именуемое обороной страны. А от вопросов чаще всего отмахивался полушутками, вроде: «Учиться было у кого, да секли мало». Не знаю. Сближались мы долго, пошагово, добрая половина знакомства не выходила за рамки взаимных приветствий. Только на десятилетие нашего новоселья, совпавшего с выходными, жена предложила позвать соседей. Знакомство упрочилось, стали навещать друг друга по праздникам, но дистанция уменьшилась не намного; было это естественно и вопросов не вызывало. Лишь когда Светлану Васильевну увезла «скорая» и за общей стеной на три недели

повисла тишина, в нас повисло ощущение, что беда пришла не только туда. А через полгода после траурных венков «неотложка» умчала в кардиоцентр и его. Вернулся через двенадцать дней. Какой – после двух клинических смертей – объяснять не надо. Помощь принимал с благодарностью, но неохотно. И однажды вздохнул.

– Хватит, ребята, меня опекать, а то фикусом стану.

Он и фикус? Он даже детям об инфаркте сообщил не сразу и настоял, чтобы они не срывались с места. Настоять умел, как, впрочем, умел многое. Досаждать ему мне неловко. Почему? Ведь знаю, что там – за стеной – ему одиноко, что живёт он со своими мыслями и со своей памятью и что поделиться ими просто не с кем. О чём он думает, когда заваривает чай? Когда засыпает? Управляется с уборкой? Чему улыбается? Как удаётся мириться со своей одинокой старостью?

Однажды у него три дня гостила женщина. Никогда раньше её не видел, и невольно подумалось о хорошем. Пропала она так же внезапно, и я отважился на вопрос. Ответ почти пристыдил.

– Да меня только один человек был способен выдерживать каждый день! А приезжала её двоюродная сестра, тридцать лет уж в Австралии живёт.

Вот так. И обручальное кольцо у него всё на том же безымянном пальце. Что это? Верность? Или опасение отяготить собой? Это при его-то покладистости?

– А не перебор в этой строгости к себе?

– Да всё может быть, но уж лучше так. Шажок в личный уют мал, но для других бывает опасен.

Это – да. Эгоизм уведёт, куда и не подумаешь; теперь я и собственным опытом сыт.

В их квартире всё к месту и ничего лишнего. Книг – шкафы. Стены – в пейзажах, натюрмортах и портретах – давний след художника-своика. На торцовой стене просторной кухни полтора десятка фотографий в рамках. Чисто и уютно в любое время. Немытой посуды не видел ни разу. Есть чему учиться. С детьми общается регулярно, но как-то по старинке: через скайп. Телефон у него кнопочный. Телевизор отключил давно.

– Как же Вы узнаете новости-то?

– Да все новости за окном. Я же и по улицам хожу, и по магазинам. А потом – сетями сыт по самые ноздри.

Теперь мы всё чаще пьем чай за журнальным столиком в его зале. Сдвигаем в сторонку тонометр, располагаемся в креслах, и Мирон Петрович увлекается и увлекает меня. Среди книг стоит на полке изящная поделка: трёхмачтовик с алыми парусами. Паруса выцвели и посерели от пыли, сделались хрупкими, но корпус стремителен, кажется, готов сорваться с вытянутой ладони-подставки. Подарок к двадцатилетию Светланы Васильевны, и ладонь – копия в натуральную величину ладони её суженого.

– Год возился. А паруса из шёлкового пионерского галстука. Пылали... Я и второй купил, думал поменять через двадцать лет, да так и лежит в комод. Не позволила.

– Почему?

– Сказала, что под этими будем плыть. Так и плывём.

Всё своё у него во множественном числе. Мне казалось, что он живёт прошлым, всё никак не может примириться. И кольцо не снимает, и даже в гости приглашает по-прежнему: «к нам». Но, в общем – человек обычный: без особых причуд, себялюбия и новостроев. И всё же влечёт меня за общую стену. Не тонометр. Не чаепитие. И даже не желание поделиться наболевшим, хотя кому не лестно, когда тебя так слушают? Нет, совсем другое, и я лишь недавно это понял. Там, за стеной со мною каждый раз происходит что-то странное: пробуждается вдруг весёлая уверенность в себе. Прямо как в детстве.

– Романтик Вы, Мирон Петрович. Аж завидки берут.

Задумывается. Поводит плечами.

– Моему поколению, Саша, повезло больше, чем вам. Для тебя полёт Гагарина – дата. А для меня – осевший восторг того апрельского утра. Мы расчищали от мусора школьный сад. Учительница ушла попить водицы и выбежала с криком: «Человек в космосе!» Такое же ликование испытали, наверное, наши родители в день Победы. Мы – послепобедные – жили этой добытой надеждой. А вы – дети распада. Вина в этом наша, беда – ваша, а промысел – вселенский.

Я уже привык к таким поворотам.

– Не чересчур – о вселенском промысле?

– Ничуть. Колебания – основа устойчивости. Вы вот удобствами живёте. А нас учили соотносить себя с мирозданием. Научились, правда, не все. А по поводу промысла – изволь. Что мы о нём знаем? Людские качели – лишь отражение вселенских. В мироздании всё и одновременно, и всё вечно. Всё неустойчиво и всё незыблемо. Всё смертно и всё бессмертно. Наука и практика делит этот пирог на кусочки и пытается понять вкус каждого. А я его ощущаю целиком, и это вкуснее кусочков. В нём даже время неразделимо.

Ну всё, следующая остановка – спиритизм. Ан нет, улыбается.

– Ты не торопись с приговором. Вон на верхней полке плеяда фантастов: Брэдбери, Грин, Ефремов, Азимов, Лем... Не мистики на потребу. Провидцы. Издатель Жюль Верна Пьер Этцель отказался печатать роман о Париже XX века. А были в романе чудеса пореальнее наutilusовских: и метро, и автомобильные пробки на улицах, и неоновые фонари. Безысходность издателю не понравилась, тиражей не обещала. А вот наш провидец. В двадцать девятом году вышел рассказ Беляева «Светопреставление». О событиях, связанных с изменением скорости света, приведшим к совмещению прошлого с будущим. Мистика? Но в лаборатории нанооптики МГУ уже пытаются уменьшить скорость света в фотонном кристалле. А человек-то почище кристаллов. В его ДНК вся вселенная зашита со своей энергетикой. Промысел её велик и неведом, и за наш плоский реализм без духа опять может ответить Содомом с Гоморрой. Но и духовный реализм уже на подходе. Качнётся вселенский маятник, и воздастся каждому по его делам и духу. О нынешнем, конечно, надо думать. А о будущем – помнить.

Владимир ГЛАЗКОВ,
(Украина). Некаўаlar